В. Г. Белинский

Полное собрание сочинений в 13 томах

Том 8

Москва
«Книга по Требованию»

УДК 82
ББК 83
Б43

Белинский В.Г.
Б43 Полное собрание сочинений в 13 томах: Том 8 / В. Г. Белинский – М.: Книга по Требованию, 2013. – 722 с.

ISBN 978-5-518-16223-5

Статьи и рецензии 1844—1845 годов («Русская литература в 1843 году», « Парижские тайны. Роман Евгения Сю», «Руководство к познанию новой истории. Сочинения С. Смарагдова», «Русская литература в 1844 году», «И. А. Крылов», «Петербург и Москва» и др.)

ISBN 978-5-518-16223-5

© Издание на русском языке, оформление «YOYO Media», 2013
© Издание на русском языке, оцифровка, «Книга по Требованию», 2013

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первозданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.

Серия Книжный Ренессанс
www.samizday.ru/reprint

СТАТЬИ
И
РЕЦЕНЗИИ

1843

⟨РЕЦЕНЗИИ И ЗАМЕТКИ, ОКТЯБРЬ — НОЯБРЬ 1843 г.⟩

1. **Повести и рассказы,** соч. Нестора Кукольника. Том II. Санкт-Петербург. В тип. К. Жернакова. 1843. В 8-ю д. л. 264 стр.[1]

Мы уже не один раз имели случай говорить, что талант г. Кукольника является весьма замечательным талантом в повестях, которых содержание заимствуется им из русского, особенно старого, быта, и что он оказывается совершенною бездарностию, хватаясь за изображение жизни, знакомой ему только из книг. Как бы для того, чтоб оправдать наше мнение, неоднократно высказанное, г. Кукольник наполнил первый том своих «Повестей и рассказов» повестями и рассказами из времен Петра Великого; и теперь, словно с тою же целью, наполнил второй том своего сборника повестями и рассказами, сюжеты которых заимствованы им из итальянской жизни.[2] Боже мой! что за скука! Неужели для этих сонных, апатических, бессвязных и лишенных всякого поэтического смысла рассказов найдутся читатели и, пожалуй, еще и почитатели?.. Не думаем!

Но между этими итальянскими повестями есть одна русская. Завязка и развязка ее ничтожны и пошлы; целое отзывается Августом Лафонтеном; но подробности есть удивительные, превосходные, достойные пера великого таланта. Вот, например, письмо русского помещика, из деревни Лукачевки, к сыну, в Рим:

Послушай, Евгений! На что это похоже?— писал старик-отец почерком великого человека, т. е. почерком, который разбирает только опытная привычка.— Довольно тебе шататься за границей. Помнишь, я позволил тебе на год, и то через силу, а теперь прошел не год, а без мала три. Право, денег не пошлю, и те задержу, что Маша тебе посылает. Полно баловать! Ведь не шутка, сколько мы лет не видались. В Питер отвезли тебя по двенадцатому году; в пансионе продержал тебя француз пять лет, там ты в университет пошел; очень нужно; я французу платил за то,

чтобы всему тебя научил; да и тут я не спорил: бог с тобой, пускай себе учится, дурного нет; ну, выучился, на службу определился; пускай себе служит: так и следует; ну, послужил довольно, говорю я; есть у тебя другая служба; я стар; надо о крестьянах радеть, к доброму хозяйству приучаться. Нечего сказать. Добрый ты сын; послушался, вышел в отставку, да и давай за границу проситься. Уж как ни больно было нам, что ты чужие земли прежде своей и прежде нас хотел видеть, да Маша уговорила. Бог с ним, пускай себе едет, дурного нет. Отпустил я тебя за глаза только на год, а вот уж без мала три; все мы под господом; слава богу, здоровы, да в нашей старости один день, и прощай, Евгений. Так на то ли мы тебя воспитывали, всем прихотям твоим потакали, чтобы за все труды и снисходительность нашу никогда на этом свете с тобой уже и не увидеться? Так смотри же, Евгений, зимой у нас с непривычки будет тебе скучно; так гуляй себе до весны, а весной, к Вознесению, изволь прямо к нам в деревню; пора тебя пристроить; пока и в твоей воле я господин; а умру, тогда уж сам за собой присматривай. Прости же, душа моя, ты у меня один, Евгений, прости, да пиши почаще; я всегда твои письма по семи раз читаю, да с Машей раза по три, да с мамзель Куси, у которой ты на руках от земли отрос; да тетушкам Пульхерии, Анне и Наталье Захарьевнам; да соседу нашему Сергею Андреевичу Беспужному, да жене его и дочери, пока здесь были; куда семь, больше. Так смотри же, Евгений, к Вознесению! А пока да сохранит и благословит тебя господь всем и нам на радость. Беспужный больно хочет тебя видеть, и я того же хочу; мы теперь в больших с ним хлопотах. Неурожай такой сильный, что и не запомнят. Мы-то с ним еще ничего; сможем; а мелким дворянам трудно приходится. Помогаем, чем бог послал, да вояжи, любезный Евгений, вояжи крепко нас подрезывают. Еще для здоровья туда-сюда, а для забавы, когда кругом нищета и голод... право, без упрека пишу. Только приезжай к Вознесенью, всё забуду. Так прости же, Евгений. Храни тебя бог и все святые. Прощай. Коли ты будешь возвращаться чрез швейцарское государство, так не забудь в швейцарском городе Женеве часы для меня купить. Деньги Маша вышлет. Как мы там с Суворовым были, так все тамошние часы хвалили: да я тогда не был при деньгах; а московский мой брегет — совсем испортился; был у нас на ярмонке часовой мастер, деньги с меня большие взял, да и доканал брегета; хоть брось... Ну, прощай! Береги себя, а пуще от фруктов; я от них в Требии в лазарете с неделю пролежал и так еще, говорили, дешево отделался. А соблазн велик. Знаю я Италию. Фруктовый сад, а для других винный погреб. Правда, кислое, да дешево. Да ты, мой Евгений, умница, сам всё это знаешь и не забудешь своего отца Павла Лукачева. Лукачевка, 5-го сентября 18** года.

А каково изображение обитателей Лукачевки и в особенности ее владетеля и повелителя? Просто прелесть! Посмотрите сами:

Но всего занимательнее, всего грандиознее в Лукачевке были сами хозяева. Павел Захарьевич Лукачев был человек лет шестидесяти с хвостиком; рослый, бодрый старик, краснолицый; несмотря на то, что волосы его были уже седы дожелта, он всегда держался прямо, грудь вперед, голову несколько назад; одевался в течение сорока лет всегда одинаково: военный сертук без эполетов; белая шапка с красным околышком; сапоги всегда со шпорами, даже дома, даже во время случайного нездоровья или, лучше сказать, нерасположения, потому что Павел Захарьевич отродясь болен был только два раза: под Требией от фруктов да на Сен-Готарде, где он крепко прозяб, так что стал думать, будто он уже и простудился, но в сражении согрелся, и всё прошло. Павел Захарьевич любил много говорить, в особенности о суворовском итальянском походе,

но и от других предметов не отказывался, преимущественно от турецкой войны, которая тогда была в самом разгаре; также нравился ему очень двенадцатый год, «Юрий Милославский», «Комета», «Иван Выжигин», затмения и сельское хозяйство. Характера Павел Захарьевич был неопределенного, вроде шелковой материи с отливом: не то, чтобы сизого цвета, не то, чтобы и коричневого; так что-то серединка на половине; частенько он дарил нищему пятиалтынный, а иногда гонял его со двора тростью, яко бродягу и дармоеда. И в домашнем быту Павел Захарьевич иной раз надуется и ходит и говорит индейским петухом, а иной раз фарфоровую вазу разобьют, нипочем, смеется над ловкостью Терентия, родного брата Евдокима, и баста. Павел Захарьевич хорошо пел басом и, уж не знаю, из подражания ли великому полководцу или так, по своей охоте, всегда стоял на клиросе и силою голоса потрясал окна лукачевской церкви; доставалось и домашним окнам, но только от смеха, а дома Павел Захарьевич никогда не пел. Еще имел Павел Захарьевич одну не столь важную привычку — чесать подбородок, особенно когда ему приходилось не говорить, а слушать; но эта привычка была к лицу Павлу Захарьевичу и означала веселое расположение духа, и Марья Захарьевна всегда радовалась в душе, когда по движению левой руки приметно было, что Павел Захарьевич намеревается чесать подбородок. Марья Захарьевна была значительно меньше ростом, нежели Павел Захарьевич; но чего недоставало в вышину, то Марья Захарьевна вознаграждала шириною. Волюм ее был особенно большого пространства; несмотря на дородство и сорок лет, как она сама себе считала в течение десяти последних годов, Марья Захарьевна весьма была свежа, отличного цвета лица, который крепко смахивал на пивонию и происходил не от чего иного, как от льда, потому что она каждое утро вытиралась этим водяным кристаллом. Марья Захарьевна для супружеского равновесия говорила весьма мало; не смеялась никогда громко, а только улыбалась; не пела на клиросе, но зато курила трубку. Голову носила несколько набок для большего сходства с упомянутым цветком; на голове не терпела ни чепца, ни шляпки, а ходила простоволосая; дома всегда была одета одинаково, в зеленом матерчатом капоте с красными бархатными обшлагами и таковым же воротничком. Костюм сей был изобретен Павлом Захарьевичем потому, что он хотел и в наружном виде Марьи Захарьевны изобразить, что она военная, т. е. супруга военного человека. При выездах в гости Марья Захарьевна имела право руководствоваться собственною фантазией и не упускала пользоваться оным. Характера она была положительно мягкого, уступчивого, доброго и на все преступления многочисленной дворни глядела сквозь пальцы. Особенных привычек не имела, но зато была одарена разнообразными талантами: превосходно солила огурцы, квасила капусту, готовила варенье и считала на счетах не только по части сложения, но и вычитала безошибочно. Сверх того, умела учить собачек и доводила их понятливость истинно до невероятной степени. Зефирка отворяла сама двери, бегала в девичью или в кабинет Павла Захарьевича и умела звать его и горничную Меланью к барыне, а Валетка крал из мужских карманов платки так искусно, как будто учился в известных воровских школах на восковых фигурах с колокольчиками. Само собою разумеется, что Марья Захарьевна из этого не делала никакой спекуляции, а просто забавлялась, смеху ради. Вот и в этот вечер, в который вам приходится свести с Лукачевыми знакомство, Марья Захарьевна сидела за чайным столиком, курила трубку и умильно глядела на Валетку, а Валетка то и дело ходил за Павлом Захарьевичем по комнате и улучал минуту для похищения из его кармана красного шелкового платка.

— Отстань, Валетка!— говорил Павел Захарьевич, почесывая подбородок.— Право, побью! Мне теперь не до тебя! Завтра приедет Евгений...

— Вот уж непременно и завтра,— сказала Пульхерия Захарьевна таким тоном, как будто услышала лично ей обидную речь.

Есть такие характеры или, лучше сказать, способы изъяснения. Что ни скажут, как будто обиженные. Право, есть; и тетушка Пульхерия Захарьевна имела этот характер или, лучше сказать, способ изъяснения. Другие две тетушки Евгения, Анна и Наталья Захарьевны, такого свойства не имели и хотя были обе замужние, жили своими домами по соседству, а в Лукачевке только гостили, но столько уважаемы не были, как Пульхерия Захарьевна, образец целомудрия и добродетели до такой степени, что, прожив на свете за пять десятков лет, о мужчинах уже не думала и даже не любила говорить об этом ненавистном ей поле. Сердце ее принадлежало одному только племяннику, которого, надо вам сказать, она никогда не видала, потому что при рождении Евгения и в первые годы его домашнего воспитания, на руках у мамзель Куси, Пульхерия Захарьевна проживала за триста верст от Лукачевки, в девичьем монастыре, у знакомой игуменьи. Это случилось потому, что тридцатилетняя дева в свете видимо получила отставку; не хотела быть предметом насмешек; скрылась; но в сорок лет девой уже быть не стыдно—и Пульхерия Захарьевна явилась в Лукачевку к особенному удовольствию хозяев. Солидный ее рассудок скоро получил влияние на все семейные советы, слова ее приобрели важность и значение, и потому Павел Захарьевич крепко огорчился, услышав вопрос Пульхерии Захарьевны.

— Завтра!— сказал он голосом, страшным для домашних и церковных окон:— завтра или никогда! Не изволь забыть, сестра, что завтра Вознесение, а если Евгений забыл это, так прощай, Евгений! Он мне больше не сын...

— Как не сын?

— Да уж так, не сын! Слушаться! Довольно я ему потакал по вашей милости!

В это время Терентий, поставив перед мамзель Куси самовар, шел назад, кажется, и мерным шагом, но на гладком полу поскользнулся, упал, встал и хотел идти дальше. Но Павел Захарьевич дал ему оплеуху и продолжал:

— Сколько денег перевел Евгений! Сколько на одну почту вышло! Мало того, что за свои письма плати, а то и за его маранье; напутает всякой дребедени три-четыре листа, а Павел Захарьевич плати! Да что я ему, приказчик, что ли? Никогда! завтра или никогда!

— Да вы зверь, Павел Захарьевич!..

— Сама ты зверь, сестра! И таких речей не говори! Мало мне от Евгения терпеть приходится! Вот жду, будто на иголках; вчера пешком до самой Пуговки дошел, думаю: авось, встречу сорванца. Сергей Андреевич удивился; Лизавета Афанасьевна расплакалась, поцеловала дочку и сказала: «Вот, Сергей Андреевич, как детей любят!» Газет читать не могу: как пришлет Сергей Андреевич, я только и посмотрю приезжающих; думаю: избаловался Евгений; прежде, чем к нам, в Питер заедет; от него всякого зла жди. От политики отстал; не знаю не только того, кто теперь остался на испанском государстве королем, даже не ведаю, что наши с турком сделали; чай, Царьград взяли, а Евгений не едет... так уж, сестра, в звери прошу не жаловать... Завтра или никогда! сказано, и я на моем слове постою. Фельдмаршал говорил про меня: «твердый», так я какой-нибудь пешке, Евгению Павловичу Лукачеву, трунить над собой не позволю. Я не зверь. Какой я зверь? почему я зверь? Вот зверь — Валетка. Подай сюда платок, подай, али я и трость возьму. То-то же! я тебе не забава! Так что же, сестра, я тебе Валетка, что ли? Зверь! хорош зверь. Ты, сестра, посмотрела бы, как я флигель для него убрал; а женится, сам во флигель перееду, а ему большие хоромы уступлю. А встречу какую приготовил! Тут во всем уезде никогда люминации не видали. Сам я здесь

сорок без малого лет живу, ни одной плошки не запомню; надо было за всем к губернатору посылать. Всю чиновность на завтра зазвал; музыку у Литовцева выпросил; не приедет, так ведь на всю губернию сраму наделает, пожалуй, еще в газетах припечатают. Да и состояние, сестра, ты знаешь, какое нам досталось: сто душ без трех числилось по ревизии; и какие души-то щедушные! мякиной кормились. За Марьей Захарьевной что я взял? Пятьдесят, и тоже не души, а душонки. Бог благословил; в 12-м году, в самую невзгоду, все плакали да хныкали, а я триста душ накупил; да потом в 18-м году всех заложил, да еще прикупил Мудровку; правда, дешево, да четыреста семь душ не шутка, и те заложил; выплатился из долгу, сестер меньших замуж поотдавал, приданое справил... А Евгений не едет!— А Лукачевка? Только в ней и было, что эти хоромы, да и те полуизгнили: ни убранства, ничего,— сараи да и полно, а теперь?.. Зверь! Ты поди, сестра, у мужика спроси, зверь ли я? У меня мужик, противу соседских, барином живет. Ну-ка, сестра, у которого мужика лошади, коровы и всякого скота нет? Ну-ка, ну-ка, сестра!.. То-то же, зверь! — А Евгений, ему всё нипочем; на готовое готовится: смерти моей ждет, что ли? Так пусть и сидит на родовом, а благоприобретенное — мое; кому захочу, тому и подарю, вот пусть только не приедет! И завтра после заутрени все поедем через Пуговку, на большую дорогу. Пожалуй, у Сергея Андреевича обедню отслушаем. Не его, так гостей встретим; как он себе хочет. В половине двенадцатого за ужин усажу гостей, а ударит двенадцать... прощай, Евгений! Там при всех волю мою скажу; тогда хоть у ног валяйся, не помилую. Дай-ко, мамзель, мне стаканчик пуншу, с горя!..

Речь Павла Захарьевича навела на всех уныние; окна дрожали и усиливали тоску женщин; даже Валетка, приметив расположение Павла Захарьевича, свернулся в крендель и уснул под стулом. Никто не смел противоречить, даже Пульхерия Захарьевна; она сделала отменно неприятную мину, не хотела чаю и ушла, не простившись; Павел Захарьевич долго еще говорил в том же тоне; Марья Захарьевна выкурила еще две трубки и слушала с тем же ровным вниманием. За ужином никто не мог есть; только Павел Захарьевич, с горя, съел жирную пулярку, выпил бутылку доброго портвейна и, жалуясь на недостаток аппетита, ушел спать...»[1]

Всё это живо, естественно, верно,— словом, всё это так, как только бывает у сильно даровитых писателей, хотя и есть погрешности в языке и нет решительно никакого *право*писания. Но не забудем, что всё это подробности, а целое совершенно лишено идеи и вертится на пустой любовишке и пустых сладеньких эффектах неожиданного узнавания и родственных свиданий. Хуже всего, в конце повести, апофеоза татарского изъявления сыновней почтительности кувырканием в ноги дражайшему родителю. Автор в восторге от этой сцены...[2]

2. **Картинки русских нравов.** Санкт-Петербург. 1843. В тип. «Journal de St.-Pétersbourg». Книжки V и VI. В V-й книжке 77, в VI-й — 69 стр.[3]

Пятая книжка «Картинок русских нравов» содержит в себе картинки совсем не русских нравов. Остроумному Казаку Луганскому вздумалось в статейке под несоответствующим

названием «Находчивое поколение» сделать очерк француза, который, прибыв в Россию в качестве гонимого легитимиста молодым человеком, до старости (хотя гонимые легитимисты существуют всего только тринадцать лет, и если в 1830 году были молоды, то и теперь еще не стары) перебивается в ней разными проделками и шутками. Многие черты в этой статейке очень забавны. Таковы, например, сочиненные Петитомом две русские басни, одна стихами, другая прозою, которые говорят его воспитанники своим родителям. Выписываем первую:

Один маленький собачка с великий злость
Грыз кость.
Большой собака приходил
И маленькой собачка спросил:
— Маленький собачка, зачем ты с великий злость
Грызешь кость?
Маленький собачка отвечал:
— Мне хозяин давал.

Нравоучение.

Следовательно, ничего не должно делать без позволения.

Но лучше всего показалось нам вступление в статейку:

Недавно один из *хозяев* по Зеркальной линии Гостиного двора, рассматривая палку мою, в которую вкладывается зонтик, сказал: «Вот, говорят, немцы наш хлеб едят; господь с ними, пусть едят: они нас добру учат; не будь их, у кого бы мы стали перенимать? Они, вишь, до всего разумом доходят, а мы глазами».

Шестая книжка содержит в себе статейку г. Кукольника «Преферанс, или + и — ». Это какая-то жалкая болтовня, исполненная самого насильственного остроумия и самого натянутого юмора. Как бы ни были вы смешливы, не улыбнетесь, читая этот странный набор слов, до смысла которого напрасно стали бы вы добиваться. И потому оставим его в покое.

Картинки в обеих книжках большею частию прекрасны; плохих нет вовсе. Это делает большую честь талантливому карандашу г. Тимма. Выгравированы его рисунки гг. Клотом, Неттельгорстом и Линком тоже прекрасно; отпечатаны хорошо.

Для *картинок* можно покупать «Картинки русских нравов»: они очень и очень стоят того. О тексте тут нечего и упоминать. Какой же даровитый поэт может написать хорошее либретто, когда его пером управляют вдохновение и воля компониста? Какой даровитый писатель может написать хорошую статью, когда его пером и вдохновением управляет воля рисовальщика? А, исключая Казака Луганского, в «Картинках русских нравов» не участвовал ни один даровитый пи-

сатель... Г-на Кукольника, конечно, нельзя отнести к числу бездарных писателей, ибо он, словно по прихоти своей, принадлежит то к даровитым, то к бесталантным: когда дело дошло до «Картинок русских нравов», он, как нарочно, примкнулся к последним...

«Северная пчела» (№ 232) так отозвалась по случаю этих двух книжек с хорошенькими картинками: «Если таких изданий, *истинно народных*, не покупать, так что же и покупать! Советуем, однако ж, не откладывать, потому что наверное этих книжечек скоро не станет». Эта похвала кажется нам невпопад восторженною: подумаешь, что дело идет об истории Петра Великого, написанной Пушкиным. Если не покупать «Картинок русских нравов», так что же и покупать! Это издание *истинно народное*... а почему?— потому что две первые книжки заняты статьями г. Ф. Булгарина: вот он и прославляет в своих фёльетонах целое издание, которому и конца не предвидится и в котором, вероятно, явится еще не один лоскут его сочинений.

3. **Разные повести**. Санкт-Петербург. Типография императорской Академии наук. (Года не означено). В 16-ю д. л. 230 стр.[1]

На обороте заглавного листка этой серенькой книжонки напечатано: «Из журнала „Маяк“ книжки XIX и XX 1841». Стало быть, эта книжонка есть невинная спекуляция на внимание читателей: *разные повести*, оставшись в этом никому не известном «Маяке» без читателей, хотели во что бы ни стало быть прочтенными и для этого заблагорассудили через два года выйти в свет особенною книжкою. «Маяк» уже не в первый раз прибегает к этому средству заставлять хоть кого-нибудь прочитывать некоторые из его статей. К несчастию этого темного журнала, где-то издающегося, и еще к большему нашему несчастию, одним только рецензентам достанется прочитывать неслыханные и чрезвычайные статьи «Маяка», особо издаваемые.[2] В книжке, о которой идет речь, три повести: первая из них, «Царское Село», писана женщиною, благоразумно скрывшею свое имя; вторая, «Сельская быль», сочинена каким-то г. Веселым, а третья, «Заклад», написана каким-то г. Тихорским. Оба эти господина очень неблагоразумно выставили наружу свои имена. Первая повесть — пречувствительная; уж так и видно, что дамской работы! Она начинается фразою: «Вы знаете, что летние месяцы прожила я в Царском Селе». Не правда ли, что эта фраза очень неосторожно капнула с пера на бумагу и что каждый из читателей имеет право ответить на нее, бросая книгу под стол: «Не знаю да

и знать не хочу»? Живучи в Царском Селе, сочинительница бродила по его садам с Виландом в руках. Боже мой! да кто ж теперь читает Виланда и в самой Германии? Один раз сочинительница села в кусты (стр. 14, строка 19) и, вытащив из большого ридикюля толстую, не дамскую книгу, не теряя напрасно времени, принялась за чтение немецкого ученого писателя Платона, написавшего «Республику». Право, так! Любопытные могут справиться сами. Это самая достопримечательная и характеристическая черта повести «Царское Село»: всё остальное в ней такой вздор, что не хочется и говорить о нем и нет сил его запомнить.— «Сельская быль» напечатана с двумя эпиграфами — французским: «C'est quelque chose de moujique?»* и русским: «Квасной патриотизм!» Местами эта повесть довольно удачно передразнивает *гутор*, т. е. *мужицкую речь*, или *баит по-мужицки*, но в сюжете, в мотивах, чувствах, мыслях она — ложь лжей и нелепость нелепостей. В деревне мота и дурака-помещика между мужиками есть богачи! Между ними один далеко превзошел в добродетели и благотворительности карамзинского Флора Силина. «Кто третьего года роздал на посев почти весь свой анбар; кто на свои деньги купил лошадь и корову вдове Аксинье; кто помогал хлебом и чем ни попало вон его (одного парня) матери?» Фантазия! Ребята борются, а девушки ободряют возлюбленных своим присутствием, взглядами и улыбками: русская национальность в флориановском пастушеском наряде! У каждого парня есть зазноба, у каждой девушки — любимец сердца; ребята все молодцы и комплиментисты, а девушки кокетки: клевета на лапотную и сермяжную действительность, которая, не влюбляясь, женится, а женившись, больно дерется! Анюта тоскует по своем возлюбленном, а отец ее нежно расспрашивает о причине грусти: тогда она не может говорить от рыданий и только, бросясь к отцу на шею, осыпает его поцелуями (стр. 102)... К довершению всего, эта сермяжно-идеальная дева говорит своему брадатому родителю не *ты*, а *вы*, и если называет его *батюшкою*, а не *папашею*, то, вероятно, только из уважения к проповедуемой «Маяком» народности. На 139 странице исправник краснеет при фразе мужика, что с беды да горя взятки гладки: невероятность! Г-н Веселый (да простит ему господь его неуместную веселость!) хотел в своей повести изобразить неизреченное счастие быть мужиком — и, сам того не подозревая, написал презлую карикатуру на это счастье. Соперник идеального героя повести убивает проезжего купца и, с ведома земской полиции, подбрасывает окровавленное платье

---

* Это что-то мужицкое? (*Франц.*). — *Ред.*